



СТИХИ НА ПЕРВУЮ ПОЛОСУ

Аркадий Макаров (1940-2025) прожил долгую и счастливую творческую жизнь.

«Я опубликовал все, что написал», — говорил он часто.

Действительно, Аркадий Васильевич Макаров публиковался в лучших литературных журналах России, в последние годы издал множество своих книг, лауреат различных литературных премий. Но при этом Аркадий Васильевич не занимался саморекламой, был скромным, внутренне свободным человеком, любил жизнь, людей, своих родных Бондари... А чувство поэзии у него было врожденным, феноменальным.

Что и говорить? Он был богоугодным человеком, поэтому и ушел на Гасху. Светлая память навсегда останется об этом человеке и поэте!

Неотвратимо время листопада.
В природе нет, и не было чудес.
Стоят деревья голые, как правда,
Под непосильной тяжестью небес.

Им сока жизни вдосталь

не напиться,
Сжигает чрево ледяной огонь...
Скрипит ветла,
Как в доме половица
Скрипела под отцовской ногой.

Я — лист последний!

Умоляю:
«Сжалась,
Дыханье осени!
Суха родная ветвь.
И нету силы, чтобы удержаться.
И нету ветра, чтобы улететь...»

Стою один над родиною малой,
От дней минувших много ли
донес?

Лиши ветерок касается, как мама,
Моих поникших спутанных волос.

Стою без слёз. А надо бы оплакать
Своё гнездо, ветёлки свежий срез.
Остывший пепел — дорогая
плата,
За то, что называем мы прогресс.

Лохматый пёс не бросится
под ноги.
Не занюют тесовые полы.
Передо мной бетонный крест
дороги
И вольные четыре стороны.

АВГУСТ

Дорога уже не пылила...
Вечерняя дума светла.
Последняя бабочка билась
В теснине двойного стекла.

Заметней вокруг перемены.
Вот лист закружился. И вот...
Милее становятся стены
И сцены семейных хлопот.

Пусть юность давно позабылась.
Мне редкая проходь к лицу...
А бабочка билась и билась,
Златую роняя пыльцу.

«Р

имлянцы, совграждане, товарищи дорогие!»

В 1997 году я нечаянно поселился в Переделкине. Всемирно известный посёлок писателей пустовал и готовился уйти в небытие с молотка. Я ходил в Дом творчества звонить на бывшую рабочую, пытаясь получить не выплаченную за несколько месяцев зарплату. Однажды я опередил прихрамывающего старика. Высокомерный и раздражённый, он стоял с тростью у будки, ждал, когда я окончил разговор и положу трубку, лицо его постепенно краснело, а седые волосы белели. Я поругался с работодателем, положил трубку, истерично дёрнулся вон и нечаянно смахнул на пол зверски зиявший аппарат.

Как же этот старик орал, срывался на фальцет, топал ногой и бил своей палкой по стойке вахтёров! Я удалился оглушенный и в воображении своём продолжал ругаться уже с этим стариком: «Как Вы смеете мне тыкать! — гневно спрашивал я и негодовал. — Да кто Вы... кто Ты такой?»

Этот старик был Михаил Михайлович Рошин.

Как бы подкидывая колено, он хромал по пустым коридорам этого заведения, казался одиноким и всеми забытым. В лучших традициях любвеобильных мужчин, он оставлял старые и покупал новые квартиры своим ёжам и в итоге остался в тесном, больше похожем на склеп гостиничном номере Дома творчества. В этом Доме за ним ухаживали последние жена, театрвед и преданная фанатка его творчества, и постаревшая вахтёра, с которой он крутил страстный роман в молодые годы здесь же, в этом Доме, не казавшемся тогда таким уным, постаревшим, заброшенным. Женщины окружали его с самого детства, с «женского эшелона», как и всё его поколение, родившееся незадолго перед войной.

Он был красивый мужчина. Мужественный, обаятельный и остроумный. От него всегда веяло свежестью и чистотой. Я думаю, сама аура его такая — светлая, чистая. Михаил Рошин из тех счастливых людей, которые никому не должны и никого не обидеть; кто помогал, как мог, всем, просящим о помощи; на которых не злятся врачи, которые не завидуют друзьям; кого до сих пор любят и с теплом отзываются многочисленные любовницы, жёны и дети.

Всем, кто не знал его, он казался высокомерным и суровым: это была защита. И драма жизни такая — обаятельный герой оказывается подлецом, а отвратительный и кажущийся жестоким человек — на самом деле наивный добряк. А может быть, раздражительность, нервность вообще свойственны людям, больным эпилепсией. Привадкам этой болезни был подвержен и Рошин.

Драма началась с военного детства, может быть, с внутреннего сопротивления родной фамилии Гибельман, с которой трудно было жить, тем более драматургу. Но и отказ от неё что-то изменил в нём, привёл в его творчестве нечто искусственное, театрально отстранённое. Однако надо отметить, что ему чрезвычайно подходил псевдоним Рошин. Он и действительно был похож внешне то ли на благородного белогвардейского офицера Рошина, то ли на мудрого и независтливого русского прозаика Михаила Михайловича, с несколько татарской раскосостью глаз, припухлостью век. Высокий лоб. Широкое, слегка красноватое и веснушчатое лицо. Мясистый русский нос. Внимательные, насыщенные, добрые, злые, бешеные, но всегда красивые глаза. Аккуратная профессорская бородка. И странная деталь, которую я всегда отмечал при встрече, — по-женски маленькие и очень красивые кисти рук. Он любил и умел красиво одеваться. Обожал английские твидовые кепи, светлые плащи и лёгкие куртки. Много курил и очень любил выпить. Мы провели с ним несколько хороших вечеров, когда нас по второму разу познакомил общий добрый друг. Он душевно страдал, что не может вволю напиться, и радовался, как ребёнок, когда Татьяна Бутрова (строгий фанат) разрешала ему несколько лишних рюмочек. Старый корпус Дома творчества, всё завалено жёлтыми листьями или непролазными снегами. Мы приходили к нему грустными вечерами, когда быстро темнеет, с бутылкой крымского вина. В 50-м номере умещалось два диванчика у стен, оставлявших узкий проход к двум письменным столам у окна. Мы видели человека в конце пути, одинокого и немоющим, но не могу сказать, что ему было нехорошо за свой положение, за то, что мы не видим золотых отсветов бывшей славы, драматургических дивидендов. Мы, собственно говоря, были никто, и ему хорошо было с нами. По лёгкому стариковскому опьянению мне представлялось, как весело жарок и дурашлив он бывал в свои молодые годы.

Слово «стариковский», однако, не совсем подходит к этому человеку — он всегда был современен, в нём не было расплывчатости, зарывчивости, старческой обидчивости. Когда-то

РАССКАЗ-газета

12+

Издаётся с 1991 года



ОЧЕРК

ФАРИД НАГИМ «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

(ДРАМАТИУРГИЯ ПО М.М. РОЩИНУ)

ФАРИД НАГИМ — прозаик, драматург. Родился в 1970 году в деревне Буранное Оренбургской области, служил в Советской армии, окончил Литературный институт. Пьесы шли в театрах Германии, Швейцарии, Польши. Руководитель семинара очерка в Литературном институте.

драматурги-руководители «Новой драмы» Уголов и Гремина опасались показывать ему шокирующую пьесу Василия Сигарева «Пластилин», а он её очень высоко оценил, стараясь помочь этому автору, приглашая его на все свои семинары и сожалел, если Василий не мог приехать. Меня, например, он бесплатно взял на свой факультет в Центре обучения, организованном при финансовой поддержке друга — драматурга Михаила Шатрова. На некоторых моих рукописях осталось его факсимile: «Наивно. Талантливо. М.Р.». Или записи в редакцию: «Ребята, прошу по возможности рассмотреть и опубликовать талантливую пьесу “День белого отца”» (пьеса, правда, называлась «День белого цветка»). Он умеренно оценивал мои творчества, говорил о нём скромно, но чувствовалось, что всенародная слава «Валентины» и «Старого Нового года» ему льстит, и он как бы согласился со всем миром, что это его шедевры. Он восхищался Вамиловым и, как ни странно, любил Тенеси Уильямса, с которым даже встречался в Америке, вспомнил его грузинской чачей. Это чачу (крепкий, мужской её вариант) ему подарили грузинский писатель в Доме творчества, узнав, что Миша летит в Америку. Рошин со стеснением и некоторой робостью предложил напиток Уильямсу. Тот понюхал и восхликал: «О! Так это то самое, что делал мой дедушка!» Кто из них соврал, не знаю. А может быть, так оно и было.

Михаил Михайлович любил приводить семинаристам в пример Эдварда Олби, который показывал своим ученикам белый лист бумаги и со словами «вот что такое драма» переворачивал его абсолютно чёрной стороной — и наоборот. Нравилось ему и то, что Олби был сам себе режиссёром, имел свою труппу.

И ещё мне запомнилась печальная стариковская констатация: «Запад всегда проявляет интерес к пьесам, героя которых заявляют прямым текстом: мы, русские дураки, пьяницы и извращенцы, мы ничего не можем делать, кроме даунов, приходите, пожалуйста, и владейте нами». Я думаю, это та, первая, тайная фамилия недоверия за свою русскую, рошинскую половину.

Известный и востребованный драматург, Рошин всегда считал себя прозаиком, становил на этом. И в этом настороживая драма жизни. Всегда так — журналист считает себя писателем, писатель драматургом, драматург режиссёром.

Но такие даются человеку характер и мировосприятие, с которыми он именно драматург, так как у него складывается жизнь, в которой он видит драму и лишь иногда — прозу.

Этому драматургу повезло с режиссёрами. Имена их всем известны. В постановки Рошина всегда считал себя прозаиком, становил на этом. И в этом настороживая драма жизни. Всегда так — журналист считает себя писателем, писатель драматургом, драматург режиссёром.

Но такие даются человеку характер и мировосприятие, с которыми он именно драматург, так как у него складывается жизнь, в которой он видит драму и лишь иногда — прозу.

Начало. Продолжение на странице 2 ➔

ЗНАЙ НАШИХ

ТАМБОВСКИЙ
ДРАМАТИУРГ —
ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
«ПОКОЛЕНИЕ 21»

Тамбовский молодёжный театр и «Гильдия драматургов» России совместно организовали Международный конкурс пьес для детской, подростковой и молодёжной аудитории «Поколение — 21».

Его финальная часть предусматривала проведение творческой лаборатории: зрителям были представлены семь эскизов спектаклей по пьесам победителей конкурса. Эскиз спектакля — это ещё не готовая постановка, но вполне осозаемая задумка режиссёра по спектакльному воплощению драматургического материала.

После каждого показа было публичное обсуждение пьес. Каждый зритель мог выразить свое мнение о драматургическом произведении.

На конкурс прислали 130 пьес, среди которых работы двух авторов из Тамбова. В список финалистов вошли семь драматургов, представляющих Москву, Донецк, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Тамбов. В числе лучших тамбовчанин Александр Попов.

Зрителям был представлен эскиз спектакля по его пьесе «Александр и Саманта», режиссёр — актёр ТМТ Александр Демидов.

Александр Попов родился в 1974 году в Мурманской области. С 1992 года проживает в Тамбове. В 2013 году окончил ВГИК по специальности драматург кино, мастерская Ибрагимбекова. Является автором нескольких киносценариев и пьес. Его сценарий полнометражного художественного фильма «Сон» (12+) вошёл в шорт-лист международного конкурса сценариев «Личное дело». В конкурсе участвовало 794 сценария из 19 стран. Пьеса «Кремовое платье с красными пуговицами» номинирована как «Лучшая детская пьеса» на фестивале «Виват, Театр!» в рамках проекта «Лезен-пьеса» (2020).



ФАРИД НАГИМ

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

Продолжение. Начало на странице 1

Многие писатели, высоко оценивая некоторые пасажи рошинских пьес, в целом довольно сдержанно отзываются о его творчестве. Но Рошин — народный драматург, и этого у него не отнять. О народности автора мы можем уже судить и по тому факту, что с удовольствием знакомимся с творчеством писателя ещё в детстве своём, — «Тихий Дон» и «Анна Каренина», «Судьба человека» и «Господин из Сан-Франциско», «Первый учитель» и «Утиная охота». В детстве и на всю жизнь меня поразил вскrik актрисы Удовиченко, обвиняющей свою мать в фильме «Валентин и Валентина»:

«Мать (Доронина). Ты что?

Женя (Удовиченко). Вала, иди! Уходи! Беги куда глаза глядят, не жалей ни о чём! Вам мало, да? Вам меня мало?.. Мало я слёз пролил-

ла?.. Я тоже всю жизнь слушала вас и поддавалась!.. А что теперь? Что у меня есть?»

В пьесе этой есть драматичные обстоятельства и пронзительные монологи, которые могли бы произнести многие персонажи великой русской литературы, и им не было бы стыдно. Каким-то мистическим образом протянулись нити из уничтоженной «бунинской» России в СССР 70-х. Смотрят я, конечно, и «Старый Новый год», но в народной этой комедии уже тогда чувствовалась некая наигрка, вымученность, как и в самом празднике, в его двойственности, то ли советской, то ли дореволюционной, в его безысходной вторичности. Ощущалась и некая искусственность типических вроде персонажей — рабочего, интеллигента, Себекина и Полуорлова, народного философа Адамыча, казалось, они боятся заглянуть в самих себя. Чья здесь вина — цензора, режиссёра, драматурга или просто безысходности времени?

Рошин особо не «диссидентствовал», не обличал «софью власьевну», не его амплуа.

Но и от официоза социалистического реализма был далёк, первую пьесу его поставили только спустя четверть века. Шёл себе между чёрным и белым. У него не было ни одной премии, и только посмертное соболезнование из-за высоких кремлевских стен. Лет десять он ютился в гостиничном номере Дома творчества и лишь незадолго до смерти получил часть Литфондовской дачи. А он и не просил ничего, умел довольствоваться и радоваться тому, что имел, может быть, за это и давалось ему многое.

Первую операцию на сердце ему сделал в Америке знаменитый доктор Дебейки, по тому «удачному» стечению, что сердечный приступ случился на подъёме к американской премьере.

Можно точно сказать, что Рошин — абсолютный бессребреник, о котором всё же забылись и не давали пропасть высшие силы. Он казался утончённым гуляком, но в то же время это был чрезвычайно трудолюбивый человек, работавший с юности много и напряжённо. У него без сомнения не отнять уже любовь почитателей и учеников, любовь и благодарность всех режиссёров и особенно актёров, с удовольствием сыгравших и поработавших на его пьесах, прославившихся. Это был советский мистик. И по сей день уже много лет идёт в Театре Моссовета пьеса «Себерянин век». Молодые драматурги переделывают и осовременивают его пьесы, как они делают это с пьесами Шекспира, Чехова и Горького.

И всё же, когда я сейчас вспоминаю его тяжёлое лицо, прищуренные, точно от боли, глаза и сигарету на виске, мне хочется спросить — что же Вас мучает? Казалось, он скрывает в себе некую чёрную странницу. Такие же недовольство, тоску, высокомерие и растерянность я видел в Аксёнове, слышал в его последних интервью.

Интересное поколение уходит, драматичное — военное, голодное, в обиоски одетое и свингующее, расцветившее конец пятидесятых стильными красками; родившееся в сталинской России и пожившее за океанами; учившееся по «Букварю» и издавшее «Метрополь»; вскоре под Гимн и открывшее джаз; подогревшее перестройку и кинутое перестройщиками... С недавних пор преследует неприятное ощущение,



Фото из открытия источника

ние, что кто-то положил страшный глаз на фото участников альманаха «Метрополь» (на одной из них мелькнул и Рошин).

Всю жизнь его окружали женщины, много женщин, но складывается ощущение, что он всё же был равнодушен к ним. «Отмынусь в прошлое и вздрагиваю», — говорил Михаил Михайлович. — Как в бане — одни голые женские тела».

Женщины обманули его, испретали сердце и оставили, с ними всё кончалось и растрачивалось... Самая первая юная жена его трагически погибла, налетев на мотоцикле на забытый строителями дорожный грейдер, а Татьяна Бутрова, тот самый последний фанат, умерла год назад. Женщины ушли. И больно о них вспоминать. С женщинами была та самая неудовлетворённость и неокончательность, пошлая закрутилённость тупика, что и сейчас вообще от жизни... Теперь уже никто не запрещал ему лишние рюмочки, сигареты и посиделки до рассвета. А он любил жизнь и никогда не откладывал друзьям и просто знакомым. Ныла отрезанная нога, трудно было передвигаться, лежать, вставать с коляски, чтобы сходить в туалет. Всё было, всё вроде бы получилось, за что бы он ни брался. Мутила пустота конца, перед которой бледнеет «Валентин и Валентина» и меркнет «Герламутровая Зинаида», неподвластная искусственности надвигающегося, собственная уже неизбежность ни к чему и нудная необходимость прикладываться.

Драма в том, что драмы не было. Это, пожалуй, первое поколение, на котором закончились героические времена, а идти в глубь человека им не позволялось, да и не накопилось в них, наверное, необходимой степени свободы и смелости, писательской вседозволенности.

Рошину могли бы позавидовать многие. У него были успех и признание, которого по нынешним временам хватило бы не на одного драматурга и прозаика. Он часто выглядывал из-за занавеса в зрительный зал, счастливого автора вызывали на сцену на бесчисленных премьерах.

Первого октября 2010 года драматург Рошин раскланялся навсегда. Аплодисменты прозвучали по ту сторону рампы. Драма завершилась. И он уже не разведёт сложенные на груди маленьких ручек, не раскинет в стороны и не развернёт ладони, как бы говоря: дорогие товарищи зрители, я старался, я сделал всё, что мог, почти всё...

Р. С. Более всех писателей он ценил творчество Бунина, боготворил его, называл любовно «князем», книгу о нём писал «один год и всю жизнь» и выпустил в ЖЗЛ. Когда говорил о любимых людях, в его речи звучали бунинские интонации и ритмические похоже складывались фразы.

Очень хотел жить в Крыму.

Драматург, во всём драматург — он умер не от гниющей ноги, у него перестало биться сердце. В машине, на солнечной, заваленной листвами дороге. Осень была особенно красива в этом году.



Фото из открытия источника

ЭДУАРД ЕМЕЛЬЯНОВ

МНОГОТОЧИЕ

Презентация газеты проходила в крохотном книжном магазине, на тихой окраине города, неподалёку от Набережной улицы и заросших дворянских парков.

На двери была прикреплена самодельная афиша с фотографиями местных литераторов, и поэтому прибывающие, заприметив кого-нибудь из них, как встарь, почтительно здоровались.

Алексею Ивановичу нравилась такая малая, провинциальная, известность, и он даже перестал возмущаться, когда при встрече с друзьями или знакомыми его стали называть писателем.

Когда книжный магазин заполнился любителями литературы, Алексей Иванович предложил передавать на так называемую сцену записи из зрительного зала. Действительно, в прежние времена зрители любили инкогнито через записи спрашивать у писателя либо артиста о его творчестве, а также задавать неудобные вопросы. Нередко автору приходилось выкручиваться, импровизировать, а если не получалось, то ответ на каверзный вопрос выступающий подменял домашней заготовкой. В любом случае такая игра нравилась публике.

Накануне своего выступления Алексей Иванович вырвал листы из старых блокнотов и сделал несколько записок для затяжки, в которых написал нечто вроде: помогает ли вам критика других авторов; с кем бы из писателей прошлого вы хотели пообщаться или героями ваших рассказов — это реальные или вымышленные персонажи?

В книжном магазине он раздал знакомые эти записи. Публика оживилась. Некоторые даже стали писать свои вопросы и ждать удобного случая пощекотать умы и нервы местному писателю.

Когда же Алексею Ивановичу пришло время выступать, он заметил, как в магазин зашла дама. Рассказывая о новой газете, Алексей Иванович то и дело посматривал на неё.

Она почему-то напомнила ему давно повзрослевшую девушки из его далёкой молодости. Но нависшие полы юбки отбрасывали тень на лицо, а большие тёмные очки скрывали её глаза.

Вдруг привстал одна интеллигентная пенсионерка и передала ему крохотный свиток из розовой бумаги. Он насторожился, это была не его заготовка — обычный отрывной листок.

— А вот и первое послание, — отшутился Алексей Иванович.

Медленно разворачивая записку, он увидел аккуратный, но твёрдый женский почерк.

девали, извинялись и тут же благодарили за газету и жалели новых рассказов.

Постояв ещё немного, он направился на Набережную.

Он шёл вдоль дороги и рассматривал, как на вершинах деревьев после первых холодов потемнели одинокие яблочки, к которым так и не дотянулась рука человека. Было понятно, что ещё день-два и они упадут на стылую землю.

В кармане ожил телефон, и он увидел сообщение: «Алексей Иванович, вы где? Мы все идём пить кофе». Он ничего не ответил.

«Неужели это она?»

Достав розовый листок, он вновь и вновь перечитывал записку. Из-за многоточия смысла записи гуяли, или точнее — Алексею Ивановичу не хотелось принимать то, что первым приходило ему в голову.

«Это чья-то глупая шутка. Ну с чего ты решил, что это была она? Извини, конечно, но ты даже не знаешь — от кого это была записка?» — задавался вопросами Алексей Иванович.

Он стоял и не знал, что делать с этим листочком. Наконец он скомкал его, швырнул на газон и запахнул прочь. Неожиданно он вернулся, поднял записку и положил во внутренний карман пиджака.

С реки подул ветер. На задувшуюся, прилипшую к земле жёлтую траву посыпались крупинки первого снега. Алексею Ивановичу город

показался серым, невзрачным, но он не торопился домой, а присел на скамейку. Перед ним простиралась ещё не замёрзшая река, а за ней долгий лес.

«Что, мой друг, — говорил он сам с собой, — ведь ты не раз вспоминал ту девушки-студентку, на которой хотел жениться. А может, и хорошо, что не женился. Тогда ты был щедр только на верность, но дерево верности, увы, даёт плоды через много лет и то в исключительно мягким климате. Сначала её всё, видимо, устраивало, но потом почему-то наскучило. Наверное, для неё отношения не могли держаться только страстью. Потом все эти придирики, что нельзя пить чай с ложкой в стакане или говорить «класти», а не «ложить». Когда на стройке ты начал прилично зарабатывать, то она намекала зарабатывать умом, а не топором... быть гордым и уметь отвечать людям так, чтобы они после долго думали над твоими словами, а лучше злились».

Все эти пожелания ломали едва наладившуюся жизнь. Ты вроде бы и соглашался с ней, но не воспринимал эти намёки всерьёз. Наверное, каждый мужчина с годами начинает понимать, что женские желания — как ночь беззубая. Они леют из нас, что им вздумается, и неважно, кто она по степени влияния: мать, жена, коллега или как у многих бывает — незабытая.

Алексей Иванович немного ухмыльнулся и продолжил размышлять: «А ведь ты не раз за-

думывался, почему теперь тебя умные люди внимательно слушают, и не из-за правил этикета, а за столом элегантная дама счастлива сидеть от тебя по правую руку. Конечно, ты прописывал все свои так называемые достижения себе, но тогда почему при той случайной встрече с ней отвёл глаза?»

Алексей Иванович даже вспомнил, как её отец зачём-то спросил: «А ты когда-нибудь читал девушки стихи?»

Тогда я не понимал, зачем ей отец это говорил. Всё это казалось старомодным.

«Наверное, мы не сошлись с ним во взглядах и были чужими людьми. А вот позже я стал его понимать. Он то ли осознанно, то ли неосознанно подсказывал мне, как добиваться желаемого, — размышил Алексей Иванович. — Однако я предпочитал оставаться для его дочери привлекательным и преданным. Недопонимания углублялись, и она уже не скрывала открытых симпатий к мужчинам с портфелем и в очках, пускай даже со скромным доходом. Её молчаливое «нет» имело силу минусовой температуры. От её лица исходил такой ледянистый холод, что в её присутствии ты уже не снимал верхнюю одежду, а ваши встречи становились всё реже и короче. Не согласившись с этим, ты попытался её вернуть, злился, шёл на какие-то безумные поступки, о которых и не помышлял в прежней спокойной жизни. Наверное, тогда впервые пришло понимание, что любовь без pragmatичности способна изменять судьбы.

Когда же искал способ как-то успокоиться, то вспомнил слова её отца и открыл для себя поэзию. В этих коротких строках ты находил не только лекарство для души, но и исцеляющий яд для мыслей. Когда какая-нибудь девушка просила тебя почитать что-нибудь лирическое, то ты добирался до тех глубин девичьей души, что руками утирал ей слёзы и получал искренние благодарности. Вот тогда ты убедился, что поэзия — это волшебство, что она как богиня — юная и вечная».

Алексей Иванович помолчал. Потом вновь достал розовый листок и припомнил о её привычке говорить слова двойного смысла. Теперь перед ним лежали обретающие иную суть обрывки фраз того времени, взгляды и эмоции.

Для него стало очевидным, что многоточие в послании будет лучше принять как тайну.

Он посмотрел куда-то неопределённо вдаль. Мимо него проходили девушки-студентки, они весело разговаривали и останавливались на нём задумчивые взгляды, а он чувствовал себя как то перервавшее яблоко на вершине сгорбленного дерева.



Фото Олега Самородина

ПОРТРЕТ ФОН ДРИЗЕНА

СЕМЁН ЗОЛОТУХИН

Картины художника Леонида Леонидовича Кутушиева регулярно экспонировались на самого разного рода выставках, находились в постоянной экспозиции и на хранении в губернской картинной галерее, в образовательных и государственных учреждениях, а равно и в частных коллекциях в России и за рубежом.

На отсутствие славы или денег Кутушиев поклонялся не мог.

Каждая губерния нашей необъятной Родины имела и иметь будет своих героев, как то — знаменитых писателей, учёных, полководцев, государственных деятелей, просветителей, путешественников, художников...

Та губерния, в которой проживал и трудался Леонид Леонидович, как и многие губернии, могла похвастаться своими известными земляками.

Одной из этих знаменитостей был барон Фильгельм — Юлиан — Карл фон Дризен, звавшийся по русской манере Юлианом Карловичем, потомок рыцарей-меченосцев, род которых давно уже обруслел. Фон Дризен являлся талантливым художником, жившим в конце девятнадцатого — начале двадцатого века и работавшим в разных жанрах — он писал портреты, пейзажи, натюрморты, бытовые сцены, мистические композиции...

Творчество барона можно было отнести к неоромантизму с некоторыми нотами классицизма.

Его тонкая, изящная манера, неожиданные, порой даже несколько странные решения, гармонические сочетания, ненавязчивая колористика уже при его жизни снискали ему известность, сотни и сотни поклонников и поклонниц в России и за границей любили и боготворили его.

Несмотря на то, что барон принадлежал к классической ортезской аристократии, детство и раннюю юность он провёл в крайней бедности из-за того, что отец его совершил разорился, промотан и растратив состояние своё на скакунов и дам-камелий. Мальчик вырос сиротой при живых родителях, которые рано разъехались и предоставили себя самим себе. Эта свобода друг от друга и друг для друга привела к тому, что ребёнок воспитывался у бабушки и к тому же почти на медные гроши, так как старушка была бедна и жила на скучный пенсион.

В мальчике рано пробудился талант живописца, он оказывал явные к тому успехи и довольно скоро, постигая искусства и науки, учась с радостью и желанием, окончил Императорскую академию художеств. О нём заговорили, особенно после получения им золотой медали и поездки в Италию, и его картины стали не только известны, но и любимы публикою, цены на них подскочили, их стали покупать — и даже великие князья, а также император...

Особенную славу барону принесла картина «Испанский танец» — изображение танцующих юных испанок около одного из мадридских фонтанов.

Известивший нужду в юности, имея уязвленную гордость, фон Дризен был скромным и закрытым человеком, ровным в общении и доброжелательным в разном членам общества, независимо от их происхождения. Он поражал собеседников оригинальным образом мыслей, удивляя высокой образованностью, пленяя милой сердцем приветливостью. К тому же барон был человеком, умеющим не расточать, а приумножать, его рачительности даже завидовали. Он выкупил имение своей матери Знаменское (она была из рода Беклемищевых), находящееся в Т-ской губернии, посреди гуашей степей и чернозёмных полей, освободил его от долгов, привёл в образцовый порядок и каждый год отправлялся туда весной — в пору цветения сирени, кой там было множество, и жил там и творил до глубокой осени, после чего уезжал в Санкт-Петербург.

Буйное цветение знаменской сирени всесело завадило душой барона, он создал множество замечательнейших картин, где сирень стала главной темой, его сиреневые букеты и сиреневые аллеи танцевали каки-то странные танцы, немного похожие на менетты или гавоты и в то же время напоминавшие движения будущего.

Пришёл октябрь 1917 года, Знаменское спорело, сиреневые аллеи были уничтожены восставшим народом, а сам барон вместе с супругой и двумя маленькими дочерьми бежал — в Петроград, а потом через Стокгольм — в Париж, и далее — в Северо-Американские Соединённые Штаты. В Европе и Америке его помнили и любили. Он очень скоро восстановил своё положение — в иерархии мастеров кисти, и в иерархии имущественной. Картины его активно раскупались — но теперь уже не великими князьями, а нуворишиами, коих много появилось после Великой войны. С собой в эмиграцию барон вывез только одну картину — «Испанский танец», её купил старик Рокфеллер за бесценною сумму, этого хватило на безбедную жизнь на швейцарской вилле.

В Советской России имя фон Дризена было предано забвению. О нём вспоминали лишь тогда, когда началась Отечественная война. Барон перевёл на дело обороны СССР огромные суммы, что было несколько странно для убеждённого антикоммуниста. С тех пор о нём стали говорить и даже писать, издали монографию о его творчестве и альбом, а лет через тридцать начали создавать музей художника — в заброшенном дотоле Знаменском. Долгое время, почти что со дня открытия музея, его директором и хранителем был Алексей Алексеевич Пермяков, одинокий холостяк, для которого история фон Дризена и его творчество стали собственной жизнью и судьбой.

Барон являлся любимым художником Леонида Леонидовича Кутушиева. Последний, сам по натуре мистический лирик, видел в творчестве барона зарю нового русского искусства, трагически оборванную революцией.

Леонид Леонидович часто говорил, обращаясь к коллегам:

— Фон Дризен и Борисов-Мусатов... вот на кого нужно ориентироваться в творчестве в поисках Вечной Красоты.

Кутушиев был верен этому мнению как в молодые годы, так и много позднее. В советские времена многие не понимали этих слов Леонида Леонидовича и возражали ему с издёвкой, утверждая, что во время больших задач, во время строительства социализма, создания БАМа и неусыпной борьбы с оголтелым империализмом, с провокациями американской правящей клики в Никарагуа и Сальвадоре он, Кутушиев, находился под влиянием буржуазных художников-упадочников, которых Великий Октябрь отбросил на обочину истории культуры. При этом некоторые псевдодобродохты с ядовитыми улыбками добавляли:

— Всё, товарищ Кутушиев, никак не можете забыть о княжеском происхождении своих предков! Всё Ваш тишин в стан безыдейников. А от них до врагов Советской власти — один шаг!

Однако серьёзных последствий для Леонида Леонидовича его скромные высказывания не имели, времена были уже вполне вегетарианские. Устранившись от социалистической деятельности с её промышленной и патриотической тематикой, он, что называется, «брал» иным — лиризмом своих работ.

Тихие, как бы слегка потусторонние пейзажи родной природы, дворы ветшающих городских особняков, где сущится белёй и бегает детьвора, задумчивые франтихи за столиками комсомольских кафе — это были его темы.

С падением власти большевиков в 1991 году Кутушиев, что называется, осмелел. Конечно, он-то всегда помнил, что является потомком князей Кутушиевых. Будучи не совсем нечестолюбивым человеком, с привычкой новых времён он заказал в губернской типографии новые визитные карточки, где было напечатано чёрным по белому — князь Леонид Леонидович Кутушиев... Ему привилась эта идея, он уверял себя, что в этом он следит Пушкину, который писал где-то, что в России поэты — сами аристократы...

На переломе эпохи тематика и палитра Леонида Леонидовича претерпели некие изменения. Он обратился к темам, ранее бывшим для него запретными, — стал писать задумчивых ангелов с лягушками и мандолинами и гневных архангелов с трубами и мечами, а также множество поверженных над снежными полями Отчины чёрных демонов, хоры почти бесстесных крыльев красного террора среди берёзовых рощ. Наряду с этими темами очищения и задумчивого возрождения он обратился и к темам античным преломлениям русским — изображал нимф и сатиров среди заброшенных парков разгромленных дворянских усадеб, статуи богов и героев, выглядывающих из развалин или скрытых в густом кустарнике. Как ему самому почему-то казалось, в этом он следовал за фон Дризеном.

Однажды Кутушиеву протелефонировали, он поднес трубку к уху — приятный с Леонидом Кутушиевым

— Да, это я...

— Как приятно! Какой у Вас сильный, очень увереный, твёрдый голос...

— Что Вам угодно, сударыня? — отвечал Кутушиев, слегка раздражаясь интимным тоном дамы.

— Позвольте представиться: Панафида Аглай Александровна, директор музей-усадьбы фон Дризен.

«Ах, это та самая Панафида, ставленница губернского министра культуры, за что поставлена — понятно...» — подумал Леонид Леонидович.

— Очень приятно, Аглай Александровна. Чем могу служить?

— Видите ли, после ухода из жизни Пермякова я разгребаю его дела.

«Ах, разгребаешься...» — подумал Кутушиев.



РАССКАЗ

Фото: Ольга Смирнова

— Разгребаю его дела, — продолжала Аглай Александровна. — И, знаете, нашла в его записях сведения о том, что он планировал заказать Вам портрет фон Дризена.

На мгновение Кутушиев даже оторопел. Недавно ушедший из жизни Пермяков не очень-то благоволил к Кутушиеву, выражаясь о нём за глаза — «отпрывок».

Но и Леонид Леонидович тоже не особенно жаловал Пермякова, называя его иногда про себя «любимую сволочь», но ценил, ибо только на нём и держалось дело возрождения усадьбы.

— Да, да, Аглай...

— Александровна, — голос уверененно подбородил его.

— Я готов исполнить заказ и даже начну сегодня же, ведь фон Дризен — мой любимый художник, почитаемый мастер, и я сделаю его бесплатно.

— Ах, Боже мой, вот и отлично. Нам крайне необходим портрет именно Вашей работы. Вы так любезны, так благородны...

Завтра я буду в городе, мы могли бы встретиться в «Кафе де Флёр», обговорить детали...

Вскоре встреча состоялась, детали были обговорены: решено было написать барона в полный рост с тростью в руке, прогуливающегося по одной из сиреневых аллеи Знаменского.

Аглай Александровна оказалась дамой с высоким бюстом и висячими глазами. Смотря на неё, Кутушиев растерянно думал о том, что она назначена директором музея, что она получила синекуру как бывшая возлюбленная какого-то бонзы, что она совершенно далека и от живописи, и от культуры вообще...

— Господи, какая дура! — хотелось ему сказать вслух на её пустую болтовню, но он этого, конечно же, не сказал...

Ровно месяц Леонид Леонидович работал над портретом, по его мнению, он получился великолепным, и он осторожно думал про себя, что, может быть, он и есть истинный «наследник» искусства барона.

Из Знаменского пришла машина, картины забрали, Аглай вновь телефонировала, бурно благодарила, намекала на возможность второй встречи, от чего Кутушиев даже расстроился, подумал, что его чёрт дернул привести с прелестницей времена.

Три года он не посещал Знаменское, след Аглай скоро простыл, потом она оказалась на ответственной работе в Пенсионном фонде.

И вновь Леониду Леонидовичу позвонили из Знаменского, на этот раз новый директор Трофименко Валерий Владиславович, который просил приехать и выступить перед солидным собранием со словом о фон Дризене.

— Очень приятно, Аглай Александровна.

— Видите ли, после ухода из жизни Пермякова я разгребаю его дела.

«Ах, разгребаешься...» — подумал Кутушиев.

Кутушиев с радостью согласился, давно он не был в Знаменском, да и Аглай уже там не было.

Он сел за руль своей машины, как и барон, владелец одного из первых «Руссо-Балтов», он был хорошим автомобилистом, и поехал в Знаменское.

Накануне ему приснился сон, в котором фон Дризен грозил ему пальцем...

В Знаменском вовсю цвела сирень...

Леонид Леонидович вовсю нагулялся по аллеям, выступил со словом о фон Дризене, особо всё-таки подчеркнув, что всю жизнь стремился к тому, чтобы стать его преемником.

Кутушиева накормили обедом, выделили индивидуального экскурсовода, юную энтузиастку Степаниду, которая провела ему экскурсию по музею. Глядя на ладную степную фигурку Степаниды, Леонид Леонидович думал о том, что её здесь хранят, Среди парков, скульптур

— с малолетства.

— Петербург, Ленинград — все равно,

Кто бы как не назвал этот город.

Я живу в нем как будто давно

Ощущаю распахнутый холод.

Ни друзей, ни врагов, ни могил, —

Ничего не досталось в наследство.

Только кто-то меня здесь хранил,

Среди парков, скульптур

— с малолетства.

Я играл под присмотром дриад,

В золотой, как казалось, ограде.

И скульптур беломраморный ряд

Я запомнил в осенний прохладе.

— с малолетства.

Укрывшись под зонтом Басё,

Переступая листьев ворот,

Куда же мы с тобой несём

Дождя неторопливый широк?

— с малолетства.

Но как-то тихо стало вдруг,

Как будто небо онемело...

— Вот первый снег, — сказал мой друг,

И зонтик он сложил несмело.

— с малолетства.

Сегодня мне не спится что-то,

Но отчего я не пойму.

Одна давнишняя забота —

Уйти достойно одному.

Вот снег идет. Всё в этом мире

Свершается помимо нас.

Стрелялись мальчики в мундирах

В такой же предрасветный час.

Но я живу, смотрю куда-то

Сквозь равнодушное стекло.

Ушедши в ночь безвозвратно

Наверно, в чём-то повезло.

ВСПОЛОХИ ПАМЯТИ

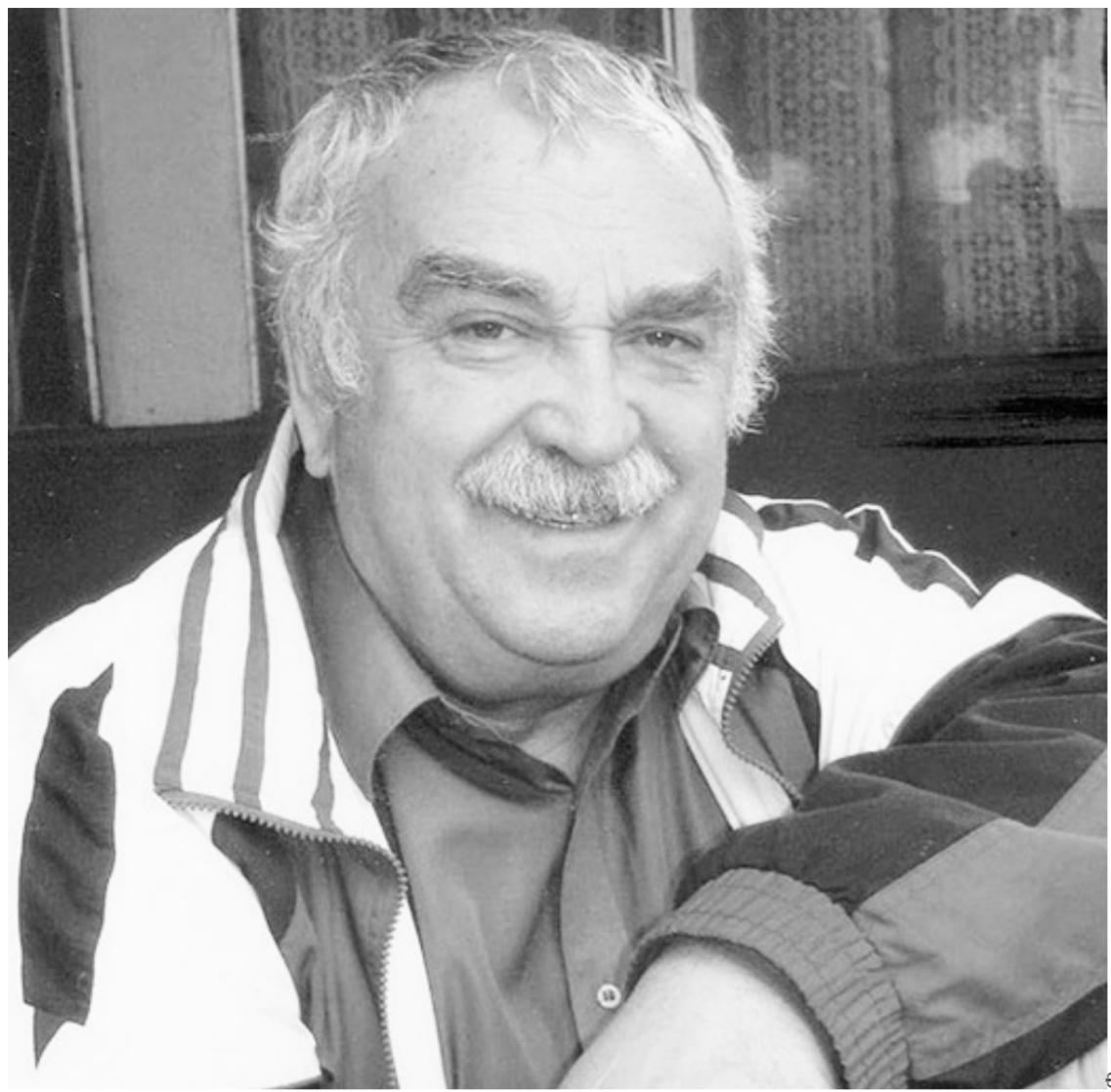


Фото: из архива историков

Есть люди с недостатком, всю жизнь им мешающим. Василию Кравченко вредили несникаемое чувство собственного достоинства и полное отсутствие чувства собственника. Если ты никому не кланяешься, то и тебе никто не поклонится. Недаром прозвали его Хромой барин.

Позвонила дочь.

— Василий Васильич...

И тягучая пауза. Не хотела говорить, что умер, так дольше изложила, что ещё жив, или комок голос пересёк... Продолжения не требовалось. В них закодировалась смерть. Мы иногда под одними словами понимаем совсем разные вещи... Я почему-то ждал этого звонка. Последние дни Кравченко неотступно следил за мной, будто следил, вспоминал. Если долго и упорно думать о ком-то, то он обязательно узнает об этом. Наша мысль ненамного слабее мобильного звонка — или сильнее? Если словом можно убить, то

мыслью и уничтожить немудрено. Недаром говорится: слово — серебро, а молчание — золото. Молчание получается дороже, а значит, и сильнее слова. Только вот промочтать, когда надо, мы не умеем и меняем золото на серебро, а то и на медь.

Кравченко звонил нечасто. Проходила неделя, другая, подходил срок, я начинал ждать звонка. Мы долго переходили на короткую ногу. Он лобил говорить:

— Тамбовские писатели друг друга не читают, а значит, и не дружат.

Но прочитав моего «Державина», одобрил и включил в список общения. Слабели раз от раза звонки, ощущалось, как утекала из него жизнь.

Голос в телефоне всё удалялся и удалялся от этого Света, приближаясь к Тому. Мы не заметили, как

значимая, а может, и значительная часть нашей жизни скользила и уместила в маленьком двоявильском ящичке Пандоры. Напихали мы туда знакомых, друзей, родных, просто случайных встречных-поперечных. Удаляем за минованием

надобности. Кто-то вычеркнул меня, кого-то я. Чаше — потому что умер. Кажется, сидят в них наши и дружат ангел-хранитель и чёрт-разрушитель. Не можем без них. Попробуйте забудьте телефон дома! Что с нами творится? Будто смысла жизни потерян.

— Выйти тела завтра в зале с одиннадцати до двенадцати.

— В каком зале?

— Мемориальным.

Оказывается, у нас в Тамбове такой имеется. Будто Риме или Париже. Не проще ли называть скорбным или прощальным? Какие мемории? Раньше так укызы назывались. Скудеет язык русский. Раньше труп падающим называли. Шёл человек по дороге жизни и упал. Умер. Бонимся смерти, а засыпать каждую ночь не страшись. Упадаем в маленьку смерть. Бессонницей мучаемся, не понимая, что это не бессонница, а бессмертие. Вспомнились слова Кравченко:

— Ты пиши, как Бог на душу положит. Не оглядывайся ни на кого и никого не слушай. Творчество — дело персональное, как сапоги или штаны. Они у каждого свои. С чужого плеча всё понюшенное и недоношенное.

Текла от него какая-то неизбытная, как заноза, грусть. Он прятал её за недовольной грубоностью. Может быть, он так компенсировал свою недооценимость как творца? Бездарность не терпел, обижен на то, что не может.

Я спрашивала:

— Василий Васильевич, что такое счастье?

Счастливые люди так же редки, как и талантливые. А талант — это уже счастье. Счастливые — значит, талантливые, и наоборот. Умирает человек и все начинают вспоминать. Вспоминают не его в себе, а себя в нём. Потому как главное наше качество — равнодушие. Увидел я впервые Кравченко у его единственного друга Александра Акунина на литературных пятницах. Последние три года он туда не ходил — тяжело было добираться. Болела нога. Травма детства. Или не видел смысла в общении? Все мы приходили в кафе «Кондитерское» к его приятелю Стегачеву. Он был его почитателем и читателем. Закатывались

литературные пиры с вкусными блюдами, напитками, рассказами, эссе, стихами, зарисовками, писателями, поэтами, учёными, артистами. Духовная пища поглощалась в реальной совокупности с телесной.

Приглашал он на эти пиры лично, и я скоро поняла, что это значило признание литературной значимости. Некое посвящение в узкий круг: литераторы хвалились — а меня Кравченко пригласил. Потом я поняла — всем молодым литераторам, кого он приглашал, потом выдавалась рекомендация в члены Союза писателей

России. Это был его ликтактив.

Жалость к умершему писателю ныла занозой, горло пересёк комок. В голове вертелись мысли о смерти. Василий Васильевич мало с кем сходился. Человеком был застёгнутым, но приветливым, хоть и не добряк. Его тихоголосное малословие восполннялось. В глазах и словах иногда вспыхивал промельк страдания. Страгая его доброта была не мелочная, не мелетешащая, несуетливая, несуетная. Душу распахнул он нежданно в «Всполохах». Обнажил — нежную, как у речной ракушки. Я нырну в её бездну мыслей и образов. Из «Всполохов» понял я — счастье было у них одно на двоих, не стало одного, не стало и счастья у другого. Василий Васильевич не смог жить без Маргариты Борисовны. С её уходом лицо писателя утратило последние следы. С уходом Маргариты Борисовны умерла и его любовь к жизни, стала не с кем, нечем, нечем, не с чем жить. Но жизненная мужская сила была в нём столь велика, что он преобразился, блестели глаза при виде красивой женщины. Я никогда не видел его лежащим. Даже в больнице. А тут в гробу лежит — и нос горбинкой. Почему-то у покойников, даже курносых, нос становится, как у Мерфи Форда? Священник, забыв имя раба Божьего, заглянул под крышу медного кадила — видимо, там таился список отпеваемых сегодня — и прогнулся:

— Раба Божьего Василия...

Всех-то не упомнишь! Под заношенней ептихалии зазвонил мобильник. Служитель прервал священное и долго доставал его из глубин рясы, а он всё надрывался мелодией из песни «Всё ещё впереди, всё ещё впереди...». Мне показалось, что от такого оптимизма в гулком зале, напитанном смертью, Василий Васильевич и тот вздрогнул. Пришедшие проводить писателя в последний путь внимательно слушали телефонный монолог попа. Когда он закончился, священник неторопко и важно упаковал телефон в кожаный чехол и спрятал в карман. Напрашивался образ из песни — «одинокий мужичок за пятьдесят, неухоженный...». Откуда-то запахло горячим мясом, наверно, из столовой, и, глядя на гроб с телом человека, сопровождавшего меня по жизни последние пятнадцать лет, мне стало жутко. Голубой гроб представился мне последним спальным вагоном, в котором писатель Кравченко уезжал, а мы все провожали его в последний путь до могилы, значит, и город должен называться Могилёв.

До зябкости в спине не захотелось туда. Могила — от слова «мочь»? Успопий уже ничего не может — ни писать, ни писать. Священник, спрятав мобильник, продолжал невинно бормотать, часто повторяя слово «Аминь». Засыпав

его, присутствующие начинали истово креститься. В углу, к ужасу своему, я увидел другого покойника. Дерзко торчали ступни в белых шёлковых тапочках. Получается, что и его тоже отпевали заодно? Или он ждал своей очереди? Повезло дважды причаститься в Святых Тайнах.

Сзади прозвучал голос:

— В больнице Святого Луки морг на ремонт, все сюда всех и свозят.

Траурный митинг возник сам собой. Сначала брали слово те, кому было положено, и те, кому невмоготу молчать. В таких случаях говорят одно и то же. Жаль, что Кравченко не услышал столько приятных и лестных слов. «Выдающийся... талант... классик...» его проза была поэзией... неоценимый вклад... останется вечно...» Кто-то перепутал, назвав его роман «Графский наследник» «На графских развалинах». Я порвавшись, на каждый раз меня кто-то опережал, и стало очевидно: не надо никаких слов. Они ходулины и протоколы. Да и нужны не ему, а нам. Он же не слышит. На середину зала вышел небритый боец из похоронного спецназа и провёл инструктаж.

— Сначала прощаются родные. Потом все прочие. В голову гроб не обходить, только через ноги. Примета плохая.

Стало ясно, этот могильщик — философ жизни и доброхот по призванию. Может, Шекспира научился? Все потянулись к выходу, отдавая чистенькой бабульке горячие тонкие свечки в проткнутых бумажках. Сменяются поколения, а старушки всё те же. Бессмертные. На кладбище ряжак глинт от разверстой могилы засыпал седнюю плиту, на которой угадывалась «Кравченко Маргарита Борисовна», и почудилось — она еле заметно прикрыла глаза, давая понять: «Мы опять вместе». Поминки в кафе «Сказка» начались с облегчения: кончилась невыносимо тяжкая тягота — хоронить дорогого человека. Дочь Виктория, терзая платком глаза, сказала:

— Папа просил помянуть его именно здесь и обязательно, чтобы скрипка. Он её очень любил.

Маленький инструмент стоял, ныл, тосковал, плакал по Василию Васильевичу, и мы вместе с ним. Совсем недавно в этом зале звенело его симеидесиятилетие и звучали тосты: дожить до ста лет. Звенели бокалы. Никто не чокался. На душе полегчало, легче чем в траурном зале и на кладбище. Кто придумал слово кладбище? Склад человеческих тел, отслуживших свой век? Каждая могила — клад бесценный. Как оценить место, где покоятся твои мать и отец? А есть ли склад людских душ? Говорят, их Господь раз в год на общие собрания приглашает. Дома я снял с полки «Линдедеев» и пообщался с Кравченко, живым и талантливым.

ЕЛЕНА НАЙМУШИНА

НЕЗАМЫСЛОВАТАЯ ИСТОРИЯ

1.

Зима после осени шла по привычке: наново-годила снег, привхватывая Рождество, и вдруг оступилась, пролилась дождём и замерзла. Каждый день небо серое, клочистое, только в рассвет на горизонте — тонкие осенептильные бело-лимонные полосы сияния. От пыльной земли веет стылостью, кажется, что твердь промёрзла до самой середины.

Даша смотрела из окна вагона на бегущую тосклившую серость неба. Она загадала — как только увидит снег, Андрей ей позвонит. Они опять поссорились. Он домосед, поездки его раздражают.

— Даунунь, зачем куда-то тащиться? Пусть твоя подруга к нам приедет.

— Андрей, там у Руфы снежные горы. Понимаешь, настоящая зима. Это её день рождения, и наверняка что-то интересное происходит. Ты же знаешь, какая она!

— Вот именно, что знаю. Руфа, конечно, умница-красавица, но жизни спокойной не ищет.

— Да она открыты, любящий человек, доверчивый. И мне всегда помогала. Андрюша, по-жалиста, не дуйся, я через три дня вернусь.

Он всё равно рассердился и не пошёл провожать её на вокзал. Она огорчилась, но знала — это остынет, простиет.

Даша и Андрей уже были женаты, когда познакомились с Руфиной, матерью двух девочек. Работая вместе, молодые женщины сошлились на нелюбви к сплетням, а выговариваясь о наболевшем иногда так необходимо. У Андрея были дружья ещё со школы, и он не вмешивался в девичьи разговоры, только подслушивал над ними.

Руфина — невысокая, ладная, тёпло-русые волосы, синие глаза, чуть распаренные скулы, досвивающиеся ей от отца татарина, не портили красивого лица, а лишь придавали ему особенность. Всегда скромно, но со вкусом одетая, она сразу понравилась Даше.

Дарья — хрупкая, светловолосая, с глазами голубыми от солнца или серыми в пасмурный день, угловатостью движения и привычкой сутулиться — казалась старшеклассницей.

Даша и Андрей жили вместе с матерью Андрея, женщины вадорной, считавшей сына своей собственностью, а сноху — недоразумением. Даша пыталась подстроиться, но терпения не хватало. Свекровь тут же напоминала, что они в её доме и кто тут «хозяин и барин». Скандалов Даша не переносила, чувствовала внутреннюю

2.

Окончив школу, Руфина, полная решимости вести самостоятельную жизнь, подала в столицу. Московские родственники помогли устроиться на работу в почтовом отделении. Она гордилась, что может сама зарабатывать, старалась.

К привлекательной юной девушке мужчины проявляли интерес. Руфина рдела румянцем, откашиваясь взаимности. Но как всякая восемнадцатилетняя девушка, не устояла, влюбилась

по уши в красивого, самоуверенного студента. Он назначал ей свидания. Бродили по московским улицам, ходили в кино, музей. Почти полгода безмятежности, и Руфа отдала себя полностью, без сомнения. Доверилась. Когда осознала, что беременна, обрадовалась, поспешила поделиться. Её ответ ошеломил: «Я не хочу детей. С ними мятая, мне свободно жить хочется. Никогда и ни за что.

Поняла, что тогда не поняла, жила дальше по инерции, работала и ждала, что вернётся. Ушла в декрет, родила девочку. Домой, к родителям, вернуться не могла. Несмотря на слёзы матери Руфы, отец запретил дочери показываться на пороге.

По словам Руфы, ей неслыханно повезло, нашла работу сиделкой. Согласились взять с ребёнком. Себя жалеть было некогда. Старушка неходячая, да и мало что понимала, дочка плачала по ночам. Обеих надо кормить, мыть, обтиривать, убрать квартиру. Утешала Руфа добре отношение сына старой женщины. Строгий, немноговорящий, руки дрожали. Туалет, как для всех в доме, на улице. За углом дома — колонка с водой. В соседнем квартале — баня. В этой комнатушке появилась на свет младшая дочь Руфы.

3.

Руфина семья жила на старой улице города. Дом был из бывших купеческих, одноэтажных, разделённый на три квартиры, каждая с отдельным входом. Мать, отец и брат Руфы имели две небольшие комнаты с прихожей, она же кухня. Чтобы не стесняться родине, Руфа с дочерью переселилась в деревянную пристройку к дому, выходящую во двор.

Дверь жилища открывалась сразу на улицу, но плотно прикрывалась, не сквозила, изнутри была обита меховой шкурой уже непонятно какого зверя. Печь, стоящая у одной стены, хорошо прогревала, если правильно растопить. Потолок низкий, руки достать. Туалет, как для всех в доме, на улице. За углом дома — колонка с водой.

В соседнем квартале — баня. В этой комнатушке появилась на свет младшая дочь Руфы.

4.

Даша вспоминала недавнее беззарплатное время. Как непросто им с Андреем было растильть сна, а Руфина с двумя дочерьми куда сложнее пришлось. Отец Руфы долго не мог простили, но на внука её вину не перекладывал. А потом смыкался, видя её старание, и она смогла заочно окончить институт, но пришлось перебраться в другой город, где предложили работу.

Электричка замедлила ход, подъезжая к станции. Даша увидела падающие снежинки. Не

выдержала, позвонила сама:

— Андрей, я уже подъезжаю, здесь и правда снег идёт. Ой, вон Руфа стоит. Всё хорошо, не волнуйся. Пойдёл Димки.

Он буркнулся:

— Хорошо. Руфе привет.

ВЛАДИМИР САМОРОДОВ

Владимир Борисович, пойдёте, все уже ждут в зале заседаний, — сообщила помощница районного судьи Таня, приоткрыв дверь судейского кабинета, держа в руках диктофон и небольшую кипу бумаг.

— Сейчас распечатаю и иду.

В тихом зале судебных заседаний было по-обыденному тревожно, участники процесса и подсудимый ожидали правосудия.

Зашла секретарь и за ней судья в длинной чёрной мантии, с листами бумаги.

Секретаря встала за стол и нажала на кнопку диктофона, засвистела красненький огонёк. Она кивнула смотрящему на неё судье.

— Всем встать, оглашается приговор. Суд приговорил... — далее следовал нудный голос, зачитывающий юридический текст, похожий на привычный роман с драматическим финалом. Приговоры почти одинаковые, как и пороки, а люди разные: кто ряжий, кто блондин, кто с высшим образованием, а кто без, буйные, тихие. «Это даже хорошо, что приговоры одинаковые, меньше в шаблоне на компьютере исправлять, — думал про себя Владимир Борисович и както побаивался этой мысли, — ведь так легко ошибиться». Вспоминал про случай с коллегой, который неправильно рассчитал рецидив преступлений и добавил паренку лишних два года. Хорошо, что адвокат тогда обжаловал приговор. Владимир Борисович часто рассматривал дела по неуплате алиментов, насилиственные против половины неприкосновенности, убийства. Это была его ниша. «Что дают, то и рассматриваем», — отвечал он на возмущения Танечки очередному переданному делу. «Сколько же этих насилиников, убийц, неплатильщиков алиментов!» — воскликнула она. Всем им было заказано государство правосудие. График судебных заседаний у Владимира Борисовича был плотный, каждое дело расписано: отведено по полчаса, если сложное — час. А ещё надо отписывать — скидывать, нельзя копить и медлить. Вникать в твороги и чаинки подсудимых было некогда.

В суде за глаза уважительно подшучивали, что Владимиру Борисовичу при вступлении в должность судьи не пришлось даже менять фотографию на рабочем столе: на ней были отец с мамой и он с братом, ещё маленькие. Отец, выйдя из отставки, вышел из кабинета, а через месяц туда пришёл он. Отец тогда сказал, что кабинет хороший, он нём досидел до пенсии. Владимир Борисович сделал небольшую перестановку, искусственные большие цветы с окна отдали судебным приставам в коридор, стол подвинул поближе к окну, из которого открывался вид на центр города с красивым храмом и высокой колокольней за ним. Когда он дежурил по праздникам, можно было смотреть на разные гуляния всё лучше, чем на обшитые пластиком стены кабинета и уголовные дела. Окно, хоть и с решёткой, оживляло в нём воспоминания, дарило фантазии. Особенно ему нравилось вечером смотреть на улицу. Он провожал взглядом спешащих с работы людей, движущиеся машины; зажигались городские огни, а надо всем этим возвышался подсвеченный крест колокольни.

Родители его отдали на юридический факультет, хотя он неплохо играл на пианино и пел, окончил музыкальную школу. Когда он в детстве заходил в суд и видел отца в длинной чёрной мантии, ему казалось, что папа у себя в кабинете сочиняет песни, записывает на бумаге и потом озвучивает в соседнем кабинете. Когда он оставался в папином рабочем кабинете, то слышал, как за стеной в большом зале он читал написанное так монотонно, быстро и с напевными стихами интонации, как читали и пели в храмах, где он бывал с мамой. Ему казалось, что это особенная музыка, такая странная, нудная, но очень важная и проникновенная.

— Пап, а что ты там делал?

— Я восстанавливала справедливость.

— А как это?

— Это ты обязательно узнаешь, когда подрастёшь, — отец подходил к окну и закуривал сигарету, снимал чёрную мантию и вешал её в шкаф, сидел, молчал, потом они шли домой. Часто уже было поздно, и с отцом почтенно прощались одноклассники судебные приставы, не забывая подмигивать мальчику.

Его мантия и сейчас висела в шкафу. Отец просто не стал забирать, оставил её почему-то. Она и сейчас казалась такой большой, как тогда, в детстве.

— Владимир Борисович, пойдёте, по краже из магазина все собрались.

— Иду, — ответил он устало. Сегодня ещё три судебных заседания предстояло провести, и никуда не деться, нужно судить. Каждый день судить. Вдруг он спросил у помощницы, уже за��ались одинокие судебные приставы, не забывая подмигивать мальчику.

Его мантия и сейчас висела в шкафу. Отец просто не стал забирать, оставил её почему-то. Она и сейчас казалась такой большой, как тогда, в детстве.

— Владимир Борисович, пойдёте, по краже из магазина все собрались.

— Иду, — ответил он устало. Сегодня ещё три судебных заседания предстояло провести, и никуда не деться, нужно судить. Каждый день судить. Вдруг он спросил у помощницы, уже за��ались одинокие судебные приставы, не забывая подмигивать мальчику.

— Таня, а вы не помните, от Ивана не приходили письма? Чего-то давно не сообщали.

— Уже год как тишина, раньше всегда на все праздники письма обязательно приходили, докладывали, все подшивали в дело, как Вы и говорили.

— Понятно, — Владимир Борисович задумался. Он порой не успевал читать все материалы уголовных дел, которые рассматривал, а на эти письма осуждённого совершенно не было времени. Но сам их факт вносил какую-то неформальную жизнь в судебную рутину работы. Каждый день в суд поступали письма с требованиями, ходатайствами, просьбами, жалобами, а поздравительные, ни к чему не обязывающие, с простыми добрыми словами — почти никогда.

Помощница Таня стояла и ждала указаний.

ГЛАЗА

РАССКАЗ



— Идите, я сейчас подойду, — произнес Владимир Борисович, и Таня опять хотела закрыть дверь. — А хотя посмотрите его дело в архиве, мне надо кое-что посмотреть, проверить то есть, — сдерживая взволнованность, добавил он.

— Хорошо, Владимир Борисович, но только вечером, после процессов. Дело давнишнее, надо поднять из архива.

— Принесите тогда мне, положите на стол.

Вечером дело Ивана лежало у Владимира Борисовича на столе — обычная грязноватая, ничем не отличающаяся от других папка. Уже прошло больше пяти лет, как он осудил этого человека, и должен был забыть о нём, ведь после него было уже столько дел, людей, судей. Но он помнил это дело, бывшее одним из первых в его судебной практике. Как только он заступил на должность судьи, ему распределили это дело «художника-педофила», как его сразу прозвали в суде. Ему было бы легче забыть его, если бы осуждённый не писал письма в суд из колонии с различными поздравлениями, наивными пожеланиями и рисунками, на которые никто из-за занятости не обращал внимания. Ему же было некогда читать, и он просил Танечку по инструкции подшивать всё в материалы дела и смотреть, если попустит жалоба: на неё нужно было дать ответ.

— Понятно, импотент не импотент, ему же не изнасилование вменяют, а развратные действия, мог и просто поприставать. Что у него там в голове? Тем более художник. Так что разницы здесь нет, — проговорил отец, смотря на растерянного сына. — А прокурор что? — добавил он, показывая свою заинтересованность в деле и неизразличие, но как-то устал, зная ответ.

— Считает вину полностью доказанной, — признался Таня, — и просил Танечку по инструкции подшивать всё в материалы дела и смотреть, если попустит жалоба: на неё нужно было дать ответ.

— Понятно. Понимаешь, ты, конечно, можешь поступать, как знаешь, но эти дела специфичные, в большинстве и не бывает свидетелей прямых. Это же дома всё происходит: кто знает, что они там делают? Нет, можешь и оправдать, но долго с таким подходом к делу не протянешь, пойдёт потом адвокатом работать или ещё хуже... А оправдательный приговор, скорее всего, отменят по жалобе прокуратуры. Ты судья молодой, доказательства виновности какие-нибудь, а есть. Так что либо его осудишь ты сейчас, либо его осудят потом, после отмены твоего приговора, понимаешь? Система так устроена, надо её чувствовать, но это со временем придёт, вот что я могу тебе сказать. А твое внутреннее убеждение может быть и обманчивым, тут не сердцем надо решать, а разумом. Прямых доказательств, что он этого не делал, нет.

— Но ведь...

Владимир Борисович смотрел на это дело, которое лежало сейчас на столе, и вспоминал всё, все подробности и интонации подсудимого, прокурора, адвоката. Вспоминал себя. Он не верил в виновность подсудимого, но не был уверен в невиновности. В Академии права учили, что в таких ситуациях оправдывают. Тогда это казалось так просто и логично — ведь есть неустранимые сомнения виновности человека.

Он вспоминал, как заехал перед приговором к отцу посоветоваться, разговор предстал в памяти.

— Понимаешь, у них мотив есть его оговаривать, он уже пожилой человек, ему это зачем?

У него есть дача и квартира, достались по наследству от родителей и в случае его смерти пойдут жене и приёмной дочери, у него никого больше из родни нет. Он ранее не судим, и никаких доказательств нет, кроме слов жены и дочери, даже дочери только письменные показания, в суде не опрашивалась во избежание психологической травмы.

— А сколько ей лет? — спросил отец.

— Двенадцать, матери сорок три, ему шестьдесят вроде.

— Понятно, а экспертиза что?

— У него отклонения небольшие выявили, но это ни о чём, там не обнаружена конкретная тяга к несовершеннолетним. Психически признан вменяемым.

— И больше ничего, из соседей, знакомых что видели? Адвокат что?

— Нет, ничего. Адвокат приложил справку о сахарном диабете и несколько дипломов за уча-

стие в художественных выставках — и всё. Он по назначению у него. Я не уверен в его виновности. Да, он, может, и не совсем нормальный, как творческий человек, но зачем ему в шестьдесят лет лезть к падчерице? Не понимаю, глупость какая-то. Он ещё в первоначальных показаниях подтвердил якобы факт домогательств, но потом сказал, что его уговорили сотрудники, сказали, чтобы подписал, и тогда домой отпустили, ничего не будет, а в противном случае — арест. Он и подписал. К тому же он импотент, есть заключение судмедэкспертизы, а в тех первоначальных показаниях было написано, что был сильно возбуждён. Как это понимать? Это явные противоречия.

— Понятно, импотент не импотент, ему же не изнасилование вменяют, а развратные действия, мог и просто поприставать. Что у него там в голове? Тем более художник. Так что разницы здесь нет, — проговорил отец, смотря на растерянного сына. — А прокурор что? — добавил он, показывая свою заинтересованность в деле и неизразличие, но как-то устал, зная ответ.

— Считает вину полностью доказанной, — признался Таня, — и просил Танечку по инструкции подшивать всё в материалы дела и смотреть, если попустит жалоба: на неё нужно было дать ответ.

— Понятно. Понимаешь, ты, конечно, можешь поступать, как знаешь, но эти дела специфичные, в большинстве и не бывает свидетелей прямых. Это же дома всё происходит: кто знает, что они там делают? Нет, можешь и оправдать, но долго с таким подходом к делу не протянешь, пойдёт потом адвокатом работать или ещё хуже... А оправдательный приговор, скорее всего, отменят по жалобе прокуратуры. Ты судья молодой, доказательства виновности какие-нибудь, а есть. Так что либо его осудишь ты сейчас, либо его осудят потом, после отмены твоего приговора, понимаешь? Система так устроена, надо её чувствовать, но это со временем придёт, вот что я могу тебе сказать. А твое внутреннее убеждение может быть и обманчивым, тут не сердцем надо решать, а разумом. Прямых доказательств, что он этого не делал, нет.

— Но ведь...

Послушай, выноси приговор, пусть посидит, там тоже люди живут. Дай ему минималку по этой статье, там вроде нижний порог лет девять или десять, и забудь про это дело. Я раньшее если видел, что человек может быть невиновен, поменяешь давал, минималку по закону. И что ты к нему прицепился-то, к этому педофилю?

— Сморшился отец и перевёл разговор на другую тему. — Ты, кстати, что не женишься никак?

— Елизавета любит тебя, красавица, из хорошей семьи, ждёт, когда созреешь, а ты нос воротишь.

Такая партия хорошая будет: её отец-прокурор

в тебе души не чает, постоянно спрашивает про тебя, беспокоится. Нам с матерью внуки нужны, ты об этом думаешь?

— добавил он.

— Не люблю я её, понимаешь? — смотря в глаза, ответил Владимир Борисович отцу.

— Ну ладно, ты взволновалась сейчас, ещё по говорим по этому вопросу, а дело с педофилом в голове не бери, не надо.

Тогда, пять лет назад, он старался не смотреть на подсудимого, когда зачитывал приговор так монотонно, поспешно, как заупокойную, и только звон колоколов доносились в открытые окна. В суде недавно заменили клетки на современные «аквариумы», и подсудимый стоял там, похудевший за время судебного разбирательства, с седой взъерошенной шевелюрой, похожий на одуванчик, сорванный кем-то и побеженный судом. Он боялся встретиться с ним глазами, но чувствовал этот взгляд на себе и помнил его, помнил такие смущенные, какие-то даже детские глаза — от них было не скрыться.

После оглашения приговора Владимир Борисович

зашёл в кабинет, он как будто спрятался там. Ему казалось, что осуждённый вдруг войдёт сюда, и ему не смогут помочь ни прокурор, ни вооружённые приставы, и он будет продолжать смотреть на него дальше, молчать, молчать и смотреть. Он перевёл дыхание и открыл дверь, чтобы позвать Таню, успокоиться, создать видимость рутинной работы, и увидел, как уводят осуждённого с поникшей головой всё дальше и дальше по коридору. Всё закончилось, и какое-то обманчивое облегчение разлилось в нём. Сейчас он опять вспомнил, как уверял себя перед приговором, что не может до конца быть уверен в его невиновности, мысленно спорил с отцом. Потом отравлялся перед собой, что ему пришлось осудить этого человека: так получилось, так сложились обстоятельства, он не мог по-другому.

Сейчас он смотрел в раскрытое и никому не нужное уголовное дело, лежавшее на его столе. В конце было подписано множество писем от осуждённого с синими штампиками исправческих. Некоторые письма не были распечатаны. Он стал раскрывать их, долго смотрел, читал наивные живые рукописные строчки. Они начинались с поздравлений с Пасхой, Рождеством и другими православными праздниками, оканчивались словами: «Молюсь за Вас и свою семью». В некоторых конвертах были отдельные листы с рисунками, выполненные карандашом или кофе. Там были изображены церкви, лес, маленькие дымки заснеженные деревенские домики, полевые летние цветы. Рисунки были чёрно-белые, но какие-то светлые, живые, нельзя было даже подумать, что они были написаны там. Внизу была незамысловатая подпись автора.

Он раскрыл последний конверт, датированный почти годом назад. В нём лежал кофейный этюд, он понял это по оставшемуся запаху и цвету, именно такой цвет оставляли капли кофе и крупи из-под чашек с ним на белых листках (черновики приговоров). Как будто на лист бумаги просто пролили кофе и кистью сделали рисунок, а там, где оставался край пролитого кофе, получилась бледная пена облаков, сквозь коричневатый туман проглядывал храм, который он много раз видел в окне своего кабинета, и еле заметная летягша в небе птица. Если посмотреть чуть дальше или чуть ближе, то просто можно не поймать рисунок. На обратной стороне листа было написано: «Поздравляю Вас, Владимир Борисович, с Рождеством Христовым».

В кабинете стояла какая-то молитвенная тишина. Он читал про себя все эти строчки тем вспомнившимися ему голосом осуждённого, когда внезапно вошла секретарь Таня. Владимир Борисович вздрог от звука открывшейся двери и растерянно посмотрел на Таню. Она смотрела на него, держащего рисунок в руке. На столе лежали разные бумаги, вскрытые конверты и дело художника. Она хотела сказать, что уже поздно и она уходит домой, но поняла, что вошла в неподходящий момент, и не знала, как выйти, что сказать. Настало тихое минутное молчание, грустно сияя глаза. Судья и секретарь Танечка понимали, что такие письма больше не поступят в суд. Владимир Борисович смотрел на неё и испытывал стр

СЕРГЕЙ ИШАНОВ

В обычном посёлке одного дома отпевали раба божьего Михаила, погибшего на войне. Мать Надежда Игоревна сидела на табуретке возле гроба в чёрном платке и, красная от слёз, уже плохо соображала, подывала только, да в голове стоял густой туман.

Губы шептали что-то несвязанное, она пыталась разделить прошлое и настояще, но образы мешались, рассекались плотной стеной, и было только неизвестное будущее.

Положив руку ей на плечо, рядом стояла её дочь Марина, притирая то и дело платком свои глаза. Вокруг стояли родня и соседи, запах свечей лез в нос, батюшка читал заупокойную, и две пожилые женщины с сухими лицами ему поддавали, гроб хоть был и в динке, но каждый почему-то ощущал на себе привкус тления.

У окна легко подымались шторы, и в открытую форточку доносились от соседей, что напротив, крики: «Горько! Горько! Горько!»

Батюшка запинался, косился взглядом и громко покашливал в кулак. Капли пота, застилавшие глаза ему, размывали текст, и он рукавом рясы часто приоткрыл лоб и густые брови, поглаживая, иногда касался бороды, а потные пальцы прилипали к страницам, когда он их перелистывал. Скорбящие начали шептаться, коситься взглядом друг на друга, подымать глаза кверху и глубоко при этом вздыхать.

Всё громче и веселее доносились звуки от соседей, звон посуды и бокалов, и пьяная речь посыпалась, когда мужики выходили покурить, и визг танцующих женщин.

— Как можно-то так! — шепнула тётя Зина стоявшей по соседству Галине Фёдоровне, заслуженной дядрёй области, руки которой от жизненного труда тряслись, и огонёк свечи колыхался и потрескивал.

— Грех-то какой, не знают они, что ли, — причитала дядрёй, крестясь.

— Будь проклята эта Оля, паскудница. Ведь на костях Мишкиных танцует и веселится, соседи тоже.

— Не дождалась его, а хорошая пара была, загадье, Мишка в ней души не чаял, а тут этот, городской, ети его, нехорошо это.

Батюшка окончил разрешительную молитву и приказал прощаться с покойником, люди зашевелились, деду крест на крашке гроба, а на улице ждал катафалк. Но Надежда Игоревна запретила сразу его грузить и просила похоронную бригаду поставить гроб напротив соседей.

Музыка вдруг стихла, а находящиеся на улице гости поспешили в дом и из окон, шепча, глазели на процессию. Невеста Ольга, отодвигая громко стул, встала из-за стола, убежав в комнату, обливаясь горькими слезами, за ней поспешили муж.

— Чего это они? — спросил кто-то, стоя у окна.

СОСЕДИ



Фото Ольги Смирновой

РАССКАЗ

несколько минут назад, а чужими. Ольга не расстроилась в то же мгновение, увидев панихиду, это произошло гораздо раньше, она знала о гибели Михаила со слов знакомой женщины, когда хлопотала на базаре о свадьбе. Она стояла там с будущей свекровью, выбирая фрукты к столу, и когда ей шепнули на ушко, лицо её онемело и мысли спутались так, что клала в сумку всё подряд, за что получила замечание от мамы жениха. И потом эта мысль не покидала её, а всё более накручивалась, как маховик, как надутый пузырь, готовый лопнуть. И вот это произошло в день свадьбы, и теперь она знала, как ей быть и что делать, но живот рос, и через несколько месяцев она должна родить.

— Это ты во всём виноват! — крикнула Ольга на своего мужа, оторвав заплаканное лицо от подушки. — Я-то тоже дура, доверилаась, повеслиась, ненавижу себя за это.

— Ах, значит, я во всём виноват! — разводил руками жених, ходя по комнате заведённым.

— Кто же, завидел иномарку, прыгнул в неё с подругами — в город захотелось, лёгкой жизни, почему-то ты забыла, что у тебя кто-то в армии. Теперь мне его поистине жаль, может, узнаш про это, он искал смерти. Да, я вешал тебе лапшу, так все делают, чтобы достичь результата, а чего ты хотела? Чего ты себе навыдумывала? Я не принц, а обычный мужик, который хочет любви, много любви. Я молод, и знаешь, если бы не эта свадьба, сколько у меня-то было бы, а? Тоже мне — красавица, ты думала прибрать меня к рукам, ну да, беременна, кто вас только учит этому, матери ваши? С пёлёнок приучают вас, как облагаживать мужчин. Знаешь ещё, постараюсь только не разыгрывать из себя жертву, я не верю в женскую слабость, не верю. Вы не те, за кого себя выдаёте, у вас силы побольше, чем у нас, силы и коварства.

— Ты права хочешь сделать аборт?

Ольга молчала и теребила кусочек платя, она не моргала, а тело глядела куда-то, создавая впечатление умалишённой.

— Молчишь... ну, молчи. Глупо будет с твоей стороны это сделать, знаешь, что потом может не получиться, ты можешь испортить себе жизнь, а всё из-за того, что ты на эмоциях.

— Не надо меня устюканивать, — умирающе произнесла она. — Мне уже всё равно, что будет.

— Пожалуй, я сейчас напишу, если уже всем всё равно, — сказал муж, хлопая себя по коленкам. — Ты тоже можешь, кстати, пить, если не хочешь ребёнка. Предлагаю веселье отставить, у соседей ведь горе, нехорошо всё это. Просто буду тихо пить, пока не усну. А гостей надо попросить — достаточно уже гуляйна, оно уж вон где, по горло. Надеюсь, ты меня не прогонишь, посижу тихонько и уйду, обязуюсь не навязываться.

— Чрез несколько минут они вышли из комнаты. В зале не кричали, а молчаливо ели и пили, а когда один увидел их, хлопнул в ладоши и было крикнуло горько, но на него посмотрели и он осёкся. В течение получаса гости расходились, не проронив ни слова, даже не шептались в дверях; как сквозняк прошёлся по дому — и никого. Муж, оперевшись на стол локтями, подавил себе то и дело и медленно жевал чего-либо, тёст утром делал то же самое, между всеми было молчаливое согласие, тёща только подставляла тарелки и брала робкие взгляды на всех, Ольга в этот вечер не пила.

АРКАДИЙ МАКАРОВ

ВЫБА

о старой деревенской привычке его звали Выба, и он охотно откликался, хотя его собственное имя было — Карп. Карпуха, если по-простому. Тоже ведь ничего!

Но вот кличка Выба к нему пристала, как банный лист в парилке: Выба да Выба. А всё потому, что один из его внуков случился картавым и слово «рыба» произносил как «выба». Вот и дед с рыбьим именем Карп стали кликать по внуку не как иначе, как «Выба».

Кто его первый раз так назвал, неизвестно, но с кличкой «Выба» дед Карпуха скинулся, как скинуваются с бородавкой на самом неудобном месте.

В моём ребячестве слова «дед», «дедушка», «дедуля» произносились редко. Ни у меня, ни у моих друзей дедушек не было; война четырнадцатого года, революция, гражданская война, антоворское восстание, коллективизация повзывали мухоморы того времени, как зубы в кулачном бою, — не сосчитай! Вот и росли мы в большей части безотцовщины и бездедовщины, если так можно выразиться.

Отечественная война перепахала каждую семью, вывернув наружу вместе с корнями и побеги: мы росли сами по себе, как трава в поле. Матерям было невмочь, на их плечи легла «страна огромная», и надо было сохранить её во что бы то ни стало.

Только Витьяка, картавый внук деда Карпа, того самого Выбы, был счастливым исключением.

Витьяка дружил со мной и я, часто бывая у него дома, всегда с завистью смотрел, как дед налаживает своему внуку удочки на рыбалку, как просит его завернуть цигарку, пока руки деда заняты племенным из гибкой лозы хитроумных приспособлений (нерета) для ловли разного речного наарода. Иногда в нерето могла по ошибке попасть щука, или в поисках удобного жилища заползти толстобрюхий налим, или даже проплыть усатый и толстый ляг сом.

Рыбная ловушка напоминала большую чернильницу-невыливайку, сплетённую из лозинок, с узким входным отверстием и достаточно бока-

стую, чтобы туда могли поместиться с десяток рыб размером с ладонь. Большая рыба попадалась редко, но, если посчастливится, то можно поймать и её.

Дед Выба никогда не выпускал из рта цигарки, но курил «не в себя», как он говорил, а просто коптил небо. Зато табак у него был звериной крепости, в чём мы с Витькой могли не раз убедиться, спокойно покуривая его цигарку, пока уснила с непокорной лозинкой, пытаясь втиснуть её в нужное место.

Нерета у деда Карпа получались ловчие, в смысле — уловистые, волшебные: при каждом просмотре этого приспособления можно было поднять обязательно несколько пescарек или другой какой рыбы, а если повезёт, то в придачу — пару-тройку бескостных и корицых, как колючая проволока, раков. Налимы попадались редко, но больше поздней осенью, когда вода в реке кипит холодной рыбью, или когда в верховьях нашей речки Большой Ломовис на мельничной запруде открывалась шлюз для спуска воды.

Налим — рыба нервная, чуть что, сразу старается забиться под корягу. А тут — вот он, руководитель: «Входи сюда, голубчик!». Вход один, а выход — попробуй, отыщи.

Витьяка тут как тут: руку просунут в горловину, и за жабры его, такого опрометчивого. На сковородке эта рыбка ух как хороша! Дед Выба довольно хмыкает в усы, Витьяка счастлив и мне хорошо тоже рыбку попробовал!

Дед Выба любил выпить. Не то чтобы он был пьяница, а по причине всяческих удач не прочь было осчастливить себя «мальчиком». Так он называл маленякую, укладистую четвертинку, половинку бутылки, если посчитать по вместимости плюс.

Принесёт Витьяка улов, разложит его по сортам, вот это на уху — пescарки, плотвички, ерши, окуньки размером с палец, а это вот на жарево — карасики, сомтика, карпички, налимы, ну, конечно и сазанчик, который вбухается в нерету.

Дед довольно поглаживает бороду, поглядывая на удачный улов. Крякнет, бывало, полезет в стальной овчинный полушубок, где у него был несгораемый запасец пенсии, и скажет внуку: «Стоний-ка

в селью, принеси «мальчик», а мы тут с твоим дружком — это со мной, значит, — обед сгодоним. Давай, одна нога здесь, а другая там!»

Витьяка, предвкушав восторг деда, уже на улице, уже к магазину рывью, а мне достаётся самая трудная работа — рыбу чистить, мыть, потрошить, выбирать из брюшек всякую скользкую мокреть — кишочки, плавательные пузыри, розовые щёточки жабр.

— Ты давай, промывай чище, чтобы вся горечь вышла! — посматривает из-под густых бровей дед.

Я уже наловчился разделять рыбу как положено: это на уху, на жарево, а это — на мультику долю.

Кот, дедов баловень, так и трётся в ногах, подхалимничает, чтобы о нём не забыли. Дед ухватит какую рыбку за хвост — и коту, а тот, довольно урча, уже под столом, уже весь в азарте, только оттуда глаза жаром плавятся.

Вся семья в весёлом возбуждении. А семья у деда — кот Оборот, Витьяка, сам дед Выба, да вот я, невольно затесавшийся в «родине».

Так получилось, что дед Выба жил один, без бабки, которая в один из дней оставила ему неожидающую горечь утраты и в придачу внука Витьючу, которого она обожала больше всех на свете.

Витьяка рос без родительского глаза. Его мать, которая жила в Москве и была замужем второй раз, никак не смогла привить отцовские чувства своему новому избраннику — большому начальству с маленькой совестью, как говорила бабушка Витиши.

Как жил, так и остался жить внук с дедом, напрочь отказавшись ехать в Москву к отчиму и родной матери. «Ливи с ним сама!» — по-взрослому сказал Витьяка и убежал из дома ко мне на чёрдак, где я сам в то время обитал, зачтиваясь Жиуль Верном, Конан Дойлем, «Двумя капитанами» Каверина.

Там, под подушкой, лежала украденная из школьной библиотеки маленякая книжка в жёлтой мягкой обложке со стихами, поразившими меня до умопомрачения, неизвестного ранее нам, школьникам, поэта Сергея Есенина.

Наступила тишина, гробовая, точно, как у соседей, только слышно, как что-то двигают и шепчутся в зале, но никто не тревожит их, словно чего-то все выжидают, тянут время.

— Пора кончать, — выдохнув, сказал муж.

— Мы сейчас же выйдем и объявим, что всё...

— Хватит с меня позора, уже клейма негде ставить, я никогда не пойду, выйду один.

Ольга шмыгнула носом, потерла его, как трут плющие люди, расправила длину платя и только сейчас взглянула на мужа. Тот стоял, облокотившись плечом о дверь, на лице его было явное смятение.

— Что? Иди, чего стоишь, — кинула головой Ольга в сторону двери.

Муж отвёл взгляд на окно, сморщил лицо, будто откусил лимон, и глубоко вздохнул.

— Глупо всё, ах, как глупо. Не так себе представляла свою свадьбу, ох, не так...

— Чем же ты с нами, — сказал муж, — женился на нас, силы и коварства.

— Ты права хочешь сделать аборт?

Ольга молчала и теребила кусочек платя, она не моргала, а тело глядела куда-то, создавая впечатление умалишённой.

— Молчишь... ну, молчи. Глупо будет с твоей стороны это сделать, знаешь, что потом может не получиться, ты можешь испортить себе жизнь, а всё из-за того, что ты на эмоциях.

— Не надо меня устюканивать, — умирающе произнесла она. — Мне уже всё равно, что будет.

— Пожалуй, я сейчас напишу, если уже всем всё равно, — сказал муж, хлопая себя по коленкам.

— Ты тоже можешь, кстати, пить, если не хочешь ребёнка. Предлагаю веселье отставить, у соседей ведь горе, нехорошо всё это. Просто буду тихо пить, пока не усну. А гостей надо попросить — достаточно уже гуляйна, оно уж вон где, по горло. Надеюсь, ты меня не прогонишь, посижу тихонько и уйду, обязуюсь не навязываться.

— Чрез несколько минут они вышли из комнаты. В зале не кричали, а молчаливо ели и пили, а когда один увидел их, хлопнул в ладоши и было крикнуло горько, но на него посмотрели и он осёкся. В течение получаса гости расходились, не проронив ни слова, даже не шептались в дверях; как сквозняк прошёлся по дому — и никого. Муж, оперевшись на стол локтями, подавил себе то и дело и медленно жевал чего-либо, тёст утром делал то же самое, между всеми было молчаливое согласие, тёща только подставляла тарелки и брала робкие взгляды на всех, Ольга в этот вечер не пила.

Всё моё богатство я передал на времменное пользование Витьки, пока он обитал у меня.

Мать Витьки поплакала